

Сергей
ЗАВЬЯЛОВ

ОДЫ
1984–1990



ПАЛЬМИРА
RUGRAM

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / МОСКВА
2022

УДК 882-1
ББК 84(2Рос-Рус)6
313

Завьялов С.

- 313 Оды : 1984–1990 / Сергей Завьялов ; [предисловие В. Шубинского]. — М. ; СПб. : «RUGRAM_Пальмира», 2022. — 182 с. — (Серия «Часть речи»).

ISBN 978-5-517-02836-5

В книгу вошли стихотворения Сергея Завьялова 1980-х годов.

Уроженец Царского Села (1958), впоследствии автор 15 книг на русском языке и в переводах, живущий ныне в Швейцарии лауреат премий Андрея Белого (2015) и Cerro Internazionale Piero Bigongiari (2016), поэт дебютировал в ленинградском самиздате, был членом Клуба-81.

Особый раздел книги — оды Горация, над переводом которых Завьялов, филолог-классик по образованию, работает вот уже 40 лет. Перевод сопровождается подробным комментарием, в котором, в частности, обосновывается отказ от распространившейся в XX веке практики имитации античного стихосложения средствами русского стиха в пользу стиха свободного.

УДК 882-1
ББК 84(2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-517-02836-5

© Завьялов С. А., 2022
© Шубинский В. И., предисловие, 2022
© Оформление.
АО «Т8 Издательские Технологии», 2022

Знак принятия за своего

Впервые я услышал имя Сергея Завьялова году в 1986 или 1987. А стихи прочитал много позже.

Наше поколение, последнее поколение неофициальной литературы, было атомизированным, разделенным. Еще десятилетием раньше всё было иначе. Виктор Кривулин и Сергей Стратановский (в данном случае — не как поэты, а как организаторы литературной жизни) создавали общее пространство. Самиздатские журналы (такие, как «Часы», «Тридцать семь», «Обводный канал»), поэтические чтения и семинары по квартирам, а позднее — в Клубе-81, значение всего этого трудно переоценить. Но на эти труды вдохновляла их вера в единую спасительную «культуру». А мы в нее уже не верили.

Мы верили только в собственный путь, у каждого автора или у каждой группы свой. Например, для группы «Камера хранения», в которую входил я, это был путь предельного сгущения языка и концентрации зрения в рамках высокой модернистской традиции. А для круга «Митинога журнала» и для тех молодых поэтов, которые шли по стопам Аркадия Драгомощенко — путь постмодернистской деконструкции и отвержения «обветшалой» отечественной традиции ради обретения мирового контекста. Нас разделяло многое (тогда мы думали, что всё), объединяло же ощущение истощенности того самопозиционирования, которое было общим для старших. Слишком это было просто: там — тусклый советский ад, тут — Сад, где и религия, и искусство, и свобода, и Рублев, и Мандельштам, и Леннон, и Джойс. Нет, понятно, что эта схема у самих «семидесятников» часто подвергалась сомнениям и рефлексии — у Стратановского, например, который в своих стихах парадоксально осмыслял советский опыт в библейском контексте (или наоборот). Но в том поколении она главенствовала. А в нашем — уже нет.

Как бы я отнесся к стихам Сергея 1980-х, прочитай я их тогда? Наверное, равнодушно. В них не было того, что я ждал от поэзии: сложной (но при том физически осязаемой) образности, языкового «сдвига», необычности, «странности» мыслей и ощущений. С другой стороны, для меня важна была тогда цельность, законченность поэтического текста. А у Завьялова (который не относился ни к нашему кругу, ни к кругу «Митинога журнала», ни, хотя входил в Клуб-81, к «семидесятническому» мейнстриму) — обрывки, фрагменты... Думаю, и ему мои стихи (как и стихи моих товарищей по «Камере хранения») показались бы «консервативными» — хотя бы в силу нашей приверженности силлабо-тонической просодии.

Но после восьмидесятых были девяностые — и вот в атмосфере того трудного и интересного десятилетия, когда всё, казалось, было возможно и ничто не гарантировано, когда все устоявшиеся жизненные представления и идеи проходили проверку на прочность, началась наша с Сергеем дружба... и начался спор. Спор, на самом деле очень плодотворный — ибо *главное* мы ощущали очень похоже, но шли к этому главному разными путями. Путь Завьялова проходил через «поэтику руин» к сложным композициям-коллажам, к осмыслению «большой истории» через частную трагедию, через опыт «простого человека», представителя молчаливого большинства.

В книгу избранного, вышедшую в 2018 году к шестидесятилетию автора в издательстве «НЛО» и ставшую итогом четвертьвековой работы, поэт не включил стихи ранние — 1984–1990 годов. Как будто отказался от них. И я могу сказать почему: в них было много того, что Завьялов сейчас с раздражением называет «ретромодернизмом» — апелляции к досоветскому (раннемодернистскому) культурному опыту. Я-то считаю, что «ретромодернизм» спас русскую культуру, что только восстановление надорванной, на одной ниточке держащейся связи с условным Серебряным веком и помогло ей вернуться в мировой контекст. Но слишком часто это восстановление оборачивалось гротескной стороной. Странно было видеть интеллигентов, в 1980-е деспорирующих с оборванного места чужие споры 1913 года, как будто с тех пор ничего не происходило (еще страннее видеть их теперь). И отсюда — готовность отречься от собственных стихов, апеллирующих (как будто) к этому прошлому (они тогда и записывались автором и публиковались в самиздатских журналах по дореформенной, царской орфографии).

Но позднее оказалось возможным вернуться к этим стихам и (внеся в них некие изменения) вернуть их к жизни. Оказалось, что в них есть нечто, живое и актуальное для автора и его читателей. Что же именно?

Начнем с языка. На первый взгляд, он может показаться слишком книжно-правильным на фоне языковых поисков многих сверстников и предшественников поэта, да и на фоне более поздних экспериментов самого Завьялова, основанных на смешении наречий и деконструкции морфем. Но в этой правильности, даже «банальности» есть свой смысл.

Завьялов — поэт, с самого начала пытающийся говорить только *о самом главном*. Это, опять-таки, его ответ на вызовы, стоявшие перед всеми петербургскими поэтами нашего поколения, выросшими в предельно разреженном социальном и предельно плотном культурно-смысловом пространстве. И ответ этот — как я сейчас понимаю — по сути неожиданно близок к тому, по которому шли авторы близкой мне линии. Была и иная

возможность. Можно было двигаться к тотальному разложению смыслов и предельной безличности (линия Драгомощенко в этом и заключалась), или к «подпольной» гримасе (замечательные в своем роде стихи Дмитрия Волчека конца 1980-х). Завьялов выбрал другое.

Но если говорить о главном, то *как* говорить, чтобы не загрязнить, не замутнить это главное случайным, профанным? Один путь — создание особого, резко индивидуального, *иного* языка. Другой — вычленение из языка (данного извне) неслучайной сути.

В случае ранних стихов Завьялова этот второй процесс завершен только сейчас. Процесс чистки текста, сведения его к работающему минимуму, повышения его КПД продолжался после публикации. И вот его результат.

Осенью этой безветренно едва ощутишь
прикосновение невидимой плоти
уловить в нем так трудно на полувздохе
на задыханье одном
с твоей придуманной родины знак чуть заметный
знак принятия за своего

Теперь стоит поговорить о другом — смысловом — уровне поэтики: о *придуманной родине*. Завьялов — филолог-классик, специалист по античной литературе. Его духовная родина — Гораций, Пиндар, Сапфо. Казалось бы, идеальное убежище в убогом советском мире. Но этот мир (хотя бы фотографии фронтовиков в старой газете) начинает говорить сам, и оказывается, что есть такой уровень бытия, где мир Горация и советский мир становятся неразличимы. И тогда (но это уже потом, за пределами первой книги) интеллигентский «смех над ленинским гробом» становится «плачем над ленинским гробом» анонимного рабочего, чью веру и трагедию мы (при любом отношении к собственно Ленину) не имеем права не принимать всерьез.

А есть и еще один мир, связь с которым у Завьялова особенно тонкая и интимная. Является это в его случае личным выбором или неким императивом, заданным биографией/происхождением — судить не берусь. В СССР была такая вещь, как «паспортная национальность» — с одной стороны, однозначная и неизменная, с другой — зачастую воспринимающаяся как обуза и становящаяся объектом своеобразного и сложного «маскарада» (например, крымскому татарину для успешной карьеры лучше было стать просто татарин, горские евреи успешно мимикрировали в татов, настоящих же татов заставляли писаться азербайджанцами), с третьей — все-таки способствовавшая самоидентификации этнических меньшинств, препятствовавшая их полной ассимиляции.

Была и есть такая национальность — «мордва» хотя, это, собственно, целая ветвь финно-угров, состоящая из нескольких близкородственных, но иногда конфликтующих друг с другом этнических групп. Мир древних абorigенов Поволжья, патриархальный, крестьянский, пронизанный языческими поверьями, травмированный изменой племенной верхушки, превратившейся в «татарских» муз и мулл и «русских» помещиков и священников, казалось бы, не имеющий языка, которым он мог бы презентовать себя современности, и не способный сопротивляться напору принудительного модернизаторства. (Это мир очень сложно связан с соседним миром исламского и шире — тюркского Поволжья — и тут не лишним будет назвать имя Геннадия Айги, поэта, по разным причинам важного для Завьялова в 1980-е годы).

Вся надежда *этой* духовной родины — поэт, способный стать ее голосом, или посланцем, или медиумом:

Речь не забыта и дубравы не выжжены
но вот они сколько их видишь?
эти чужие русские села между
с горячею кровью стволами вылезшие
от усердия вены реки корявые
с драками схожие танцы а дальше
проволок колочей пурги из распухшего
чрева тайги
 нефтетеченье

Саранск (столица Мордовии, которую русский интеллигент чаще вспоминает в связи с Бахтиным) в мире Завьялова — новый, Четвертый Рим, основанный новыми троянцами. Так рождается новый миф, порожденный новой хтоникой. Он пронизывает все творчество Завьялова. То, что намечено в ранних стихах, скажем, в «Эрзянском парне» или «Инязоре Тюштяне», потом получит развитие в «Песнях мордвы-эрзи и мордвы-мокши» (1997), в страшном тексте про «колхозницу-мордовку» из «Советских кантат», в «Квартете на темы Горация», где описание древних могильников Мордовии становится отправной точкой для невеселых размышлений о «месте человека во вселенной».

Мы читаем сейчас раннего Завьялова, зная о Завьялове зрелом. Это совсем другое чтение. Но дело не только в этом. Времена смыкаются, и восьмидесятые годы оказываются куда ближе к нашему времени, чем многое из того, что было в промежутке. Мир и культура в очередной раз драматически переформируются. Стихи возвращаются тогда, когда время их вызывает. Эти стихи сегодня вызваны из прошлого.

Валерий Шубинский

I. ВСЁ ОПРЕДЕЛЕННЕЕ (1984–1985)

Григорию Беневицу, моему первому читателю

